

Сергей Николаевич ЗЕНКИН / Sergey ZENKIN

| Поэзия и жертва слов / Poetry and the Sacrifice of Words |

Сергей Николаевич ЗЕНКИН / Sergey ZENKIN

*Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург
Доктор филологических наук, профессор*

*Russian State University for the Humanities, Moscow; Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia
Professor, Doctor of Science in Philology
szenkin@hse.ru*

ПОЭЗИЯ И ЖЕРТВА СЛОВ

Поэзия – «жертво-приношение, в ходе которого в жертву приносятся слова». Эта мысль Жоржа Батая из книги «Внутренний опыт», до сих пор недостаточно осмысленная в критике и не усвоенная эстетической теорией, комментируется в настоящей статье. Рассматриваются вопросы о специфике жертвы в более общем процессе творческой негативности, о возможности приносить в жертву слово, то есть чисто информационный объект, набор виртуальных отношений, о том, обладает ли «жертва слов» как целостный акт каким-либо смыслом, образуемым за счет отмены значений слов. Критический анализ имеет целью уточнить эпистемологические предпосылки батаевской идеи и ввести ограничительные условия, при которых она могла бы использоваться в научном дискурсе о литературе.

Ключевые слова: жертвоприношение, Жорж Батай, эстетика, теория литературы.

POETRY AND THE SACRIFICE OF WORDS

Poetry is "a sacrifice in which words are the victims". This idea from Georges Bataille's book "The Inner experience", insufficiently understood in criticism and not accepted by aesthetical theory, is commented in the present article. The following questions are examined: the specificity of sacrifice in the general process of creative negativity; the possibility of sacrificing a word, i.e. a purely informational object, a set of virtual relationships; the eventual meaning that the total act of "sacrificing words" can express by abolishing the particular meanings of those words. The critical analysis tends to precise the epistemological presuppositions of Bataille's idea and to introduce some restrictive conditions under which this idea might be utilized in the scholarly discourse on literature.

Key words: sacrifice, Georges Bataille, aesthetics, theory of literature.

Среди идей и практик, унаследованных нами от древнейших людей, жертвоприношение – одна из тех, что более всего затемнены в ходе истории. Подобно мифу, который, по мысли Ханса Блюменберга, доступен нам не в своей первобытной сущности, а лишь как продукт многовековой «работы над мифом», подобно младенческой «первосцене», которую психоаналитики восстанавливают только по ее сильно искаженным

отражениям в душевной жизни взрослого пациента, – архаическая жертва дошла до нас неузнаваемо трансформированной в результате множества модификаций и подмен. Нам почти невозможно – страшно, немыслимо – представить себе в собственном опыте то, чем должна была быть первобытная жертва: темная, бесцельная, буквально бессмысленная. С развитием цивилизации этот акт превращался в обряд и тем самым рационализиро-



Сергей Николаевич ЗЕНКИН / Sergey ZENKIN

| Поэзия и жертва слов / Poetry and the Sacrifice of Words |

вался: ему приписывали целесообразное назначение (умилостивить божество, очиститься от скверны), ему придавали символическую форму (вместо чистого уничтожения – ритуальное потребление, например съедение), его объекты делались все более условными (вместо людей – животные, растительные продукты питания, драгоценности, а сегодня уже и деньги как предмет «пожертвований»)¹. Суть жертвенного акта спиритуализировалась, и в современных религиях она часто толкуется как одухотворение материи, жертва духу, внутренний акт души².

Одним из элементов духовной культуры – возможно, самым важным и самым *реальным* из них – является слово. Поскольку же свою предельную разработку оно получает в поэзии, то возникает вопрос: возможна ли жертва, предметом которой станут слова? В истории культуры с глубокой древности присутствует идея *поэта-жреца* – она содержалась в латинском слове *vates* (богословенный поэт), ее высказывал в конце XVIII века Новалис («Поэт и жрец были вначале одно, и лишь последующие времена разделили их»)³, во времена Пушкина она была общим местом поэзии («Издревле сладостный союз / Поэтов меж собой связует: / Они жрецы единых муз; / Единый пламень их волнует»)⁴. Однако назначение поэта-жреца обычно сводили к добыче и хранению священного *знания* («поэт постигает природу лучше, нежели разум ученого»)⁵, к гаданию и прорицанию, и при этом замалчивалась другая его функция, которая прямо прочитывается в его русском названии, – функция

жертвоприношения⁶. Только в XX веке связь поэзии с жертвой сделалась темой серьезного размышления, хотя произошло это не в строгой науке, а в литературно-философской эссеистике. Речь идет о книге Жоржа Батая «Внутренний опыт» (1943), а еще точнее, об «Отступлении о поэзии и Марселе Прусте», одном из последних фрагментов этой книги, посвященной опыту чистой, безбожественной мистики. Из этого мистического опыта и выводится батаевское определение поэзии: «О поэзии я могу теперь сказать так: в моем понимании, это жертвоприношение, при котором в жертву приносятся слова. Мы используем слова, превращаем их в орудия полезных действий. В нас не было бы ничего человеческого, будь наш язык полностью поработан. Нам не обойтись и без тех действительных отношений, которые слова завязывают между людьми и вещами. Но мы отрываем слова от этих отношений в каком-то бреду»⁷.

Отрывистый, паратактический стиль этого абзаца сам по себе напоминает пифическое пророчество: ни одна фраза, кроме последней, синтаксически не связана с другими, каждая словно изрекается независимо от прочих. Они оторваны друг от друга, а не только «от действительных отношений», как выражается Батай применительно к словам в поэзии; то есть стиль его рассуждения отчасти имитирует собственный предмет. Слова «в бреду» позволяют определить и ближайший источник таких представлений о поэтическом творчестве: это сюрреализм (к которому Батай был близок в молодости), с его теорией «автоматического», самопроизвольно-бессознательного письма.

Тем не менее, текст батаевского «Внутреннего опыта» представляет собой, за небольшими исключениями, не поэзию, а философскую прозу; в

¹Последний пример взят из русского языка; в других языках «благотворительные пожертвования» могут обозначаться словами, не ассоциирующимися с «жертвой» (напр., *donation*, «даяние», в английском и французском языках).

²См.: Nancy J.-L. *L'Inscritifable* // Nancy J.-L. *Une pensée finie*. Paris, Galilée, 1990.

³Новалис. Фрагменты / Перевод А.С.Дмитриева // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: изд-во МГУ, 1980. С. 94.

⁴Пушкин, «Языкову» (1824).

⁵Новалис. Фрагменты / Перевод А.С.Дмитриева // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: изд-во МГУ, 1980. С. 94.

⁶Слабый, условно-метафорический отголосок этого мотива – в стихотворении Пушкина «Поэту»: невежественная толпа «плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской ревности колеблет твой треножник» (то есть жертвенник).

⁷Батай Ж. Внутренний опыт / Перевод С.Л.Фокина // Батай Ж. Сумма атеологии: Философия и мистика. М.: Ладомир, 2016. С. 201.



Сергей Николаевич ЗЕНКИН / Sergey ZENKIN

| Поэзия и жертва слов / Poetry and the Sacrifice of Words |

нем формулируются идеи, логическое содержание которых можно реконструировать. Так, идея жертвы определяется по противопоставлению с *пользой*: жертва – это то, что не используется, что выводится из социально полезного (например, экономического) оборота, а потому и не «порабощено» никакой утилитарной функцией. Жертвоприношение совершается не ввиду какого-то будущего результата (Батай называет такую перспективу «проектом»), а в абсолютной сиюминутности: «В проекте важен результат, тогда как вся ценность жертвоприношения сосредоточена в самом деянии. При жертвоприношении ничего не откладывается на потом, оно властно все ставить под вопрос в миг своего свершения, все призывать к ответу, все принуждать к присутствию»⁸.

Именно такова и идеальная сущность поэзии – бесцельной, ни для чего не служащей деятельности, в которой язык утрачивает свою обычную функцию общения. Ее слова «отрезаны от корыстных забот» и вступают в абсурдные, коммуникативно бесполезные сочетания, привычные образы обозначаемых ими предметов «вспоминаются лишь для того, чтобы погибнуть»⁹. Батай приводит в качестве примера сюрреалистическую метафору «масляный конь»: она не несет никакого полезного сообщения, никоим образом не раскрывает сущность масла или коня, ее эффект – мгновенное уничтожение всякого смысла.

Вместе с тем свое определение поэзии как жертвоприношения слов Батай обставляет рядом оговорок. Он вводит длинный критический анализ прозы Марселя Пруста, прежде всего знаменитых «непроизвольных воспоминаний», к которым тогда принято было сводить главное художественное открытие этого писателя. По мысли Батая, непроизвольное воспоминание схоже с жертвоприношением своим мгновенно-экстатическим переживанием, но оно все-таки нацелено не на уничтожение, а на удержание своего объекта. В этом отношении про-

заик Пруст делает то же самое, что и реальный – а не идеально-жертвенный – поэт: «Как и поэзия, непроизвольные воспоминания не подразумевают отказа от обладания – напротив, они поддерживают желание <...>. Даже какой-нибудь проклятый поэт тщится обладать зыбким миром образов, которым он дает выражение, обогащая наследную сокровищницу человечества»¹⁰.

Что же касается разрушения смысла слов, то оно, говорит Батай, «делает поэзию жертвоприношением, правда, наиболее доступным»¹¹. В отличие от поэзии, подлинное жертвоприношение «не замыкается в царстве слов»: «Если надо, чтобы человек достиг крайности, чтобы его разум обессилел, чтобы Бог умер, для этого мало будет слов, даже самых болезненных словесных игр»¹².

Таким образом, батаевская теория «жертвы слов» неоднозначна: с одной стороны, дело поэзии – жертвенно истреблять слова, а с другой стороны, эта жертва недостаточна, неполноценна, потому что не позволяет до конца избавиться от полезной целесообразности и «проективной» временной перспективы, которые несовместимы с подлинным жертвоприношением. В этом противоречии следует разобраться.

Жертвоприношение включается в общую категорию *негативности*, и именно так понимает его Батай: жертва не позитивно «приносится» в дар кому-нибудь (божеству, коллективу, ближнему), а чисто негативно исторгается из ряда профанных предметов, в ней отрицается, выражаясь словами Пушкина, «презренная польза»¹³. Негативность заключается не обязательно в разрушении объекта, но именно в его отторжении, изъятии из обычного порядка вещей, то есть в сакрализации: «<...> Это

¹⁰ Там же. С. 213. Здесь, правда, Батай незаметно смещает предмет своего размышления: от «жертвы слов» переходит к гипотетической «жертве образов» (воспоминаний, выражаемых словами), в отсутствии которой он и упрекает Пруста.

¹¹ Там же. С. 201.

¹² Там же. Курсив Батая.

¹³ «Нас мало, избранных, счастливых праздных, / Пренебрегающих презренной пользой, / Единого прекрасного жрецов» («Моцарт и Сальери»).

⁸ Батай Ж. Внутренний опыт / Перевод С.Л. Фокина // Батай Ж. Сумма атеологии: Философия и мистика. М.: Ладомир, 2016. С. 202.

⁹ Там же. С. 201.



Сергей Николаевич ЗЕНКИН / Sergey ZENKIN

| Поэзия и жертва слов / Poetry and the Sacrifice of Words |

не обязательно связано со смертью, самое торжественное жертвоприношение может быть и бескровным. Приносить в жертву – значит не убивать, а оставлять и дарить»¹⁴.

Жертвенные практики трудно отыскать среди внешних проявлений негативности, присутствующих в литературном творчестве. Казалось бы, нет ничего проще, чем уничтожить слова – точнее, созданный из них *текст*, который можно стереть, сжечь, удалить из памяти и т.п. Поскольку наша цивилизация высоко ценит тексты и склонна их хранить, архивировать, то такое уничтожение может переживаться как драматический акт – когда, например, писатель отбрасывает, отбраковывает вариант своего произведения, над которым до того он мог долго и упорно трудиться. Тексты многих литературных произведений высятся на обломках черновых редакций, включая большие и важные фрагменты, не вошедшие в окончательную версию; филологи знают огромное число таких фактов и тратят немалые усилия на восстановление уничтоженных вариантов, публикуя их в научных изданиях классиков. Однако черновые варианты вымарываются не ради уничтожения как такового, а в целях совершенствования окончательного текста, то есть ввиду творческого «проекта». Даже если сам писатель говорит «мне пришлось пожертвовать этим фрагментом, этими подробностями», на самом деле тут имеет место не жертвенная, а противоположная ей *производственная* негативность, потребление сырья ради создания конечного продукта. Конечно, художественное творчество отличается от обычного ремесла, производства полезных изделий: там тоже систематически отбраковываются неудачные экземпляры, но ремесленнику изначально известно, как должно выглядеть доброкачественное изделие, а писательский проект складывается по ходу своего осуществления, часто автор не знает заранее, каким получится его произведение, и уничтожение промежуточных редакций именно и служит познанию этого еще неясного

замысла (писатель, словно скульптор, отсекает от произведения все лишнее). И все же проект есть проект: его целесообразность в любом случае противоположна жертве, как ее понимает Батай. Отличаются от нее и другие внешние формы текстуальной негативности: цензурирование текста (самим автором или внешним редактором/цензором), его оккультация (например, писание «в стол», искусственное ограничение автором доступа к своему тексту). Действительно, жертва не обязательно носит публичный характер, она может быть и приватной, интимной, тайной, но она не может заключаться в *акте утаивания* как таковом.

«Жертву слов» приходится искать не во внешних действиях по отношению к слову, а во внутреннем действии, осуществляемом самими словами. Для этого нужно выделить ее из более общего класса негативных актов: дело в том, что всякое слово – не только литературное – само по себе обладает потенциалом негативности, отрицает собственный предмет-референт. Об этом размышляли французские поэты и философы начиная со Стефана Малларме, а четче всех эту мысль выразил современник и друг Батай Морис Бланшо в статье 1949 года «Литература и право на смерть»:

Конечно, мой язык никого не убивает. И все же, когда я говорю «эта женщина», в моем языке возмещается и уже присутствует реальная смерть; мой язык хочет сказать, что вот этот человек, находящийся здесь, может быть отделен от себя самого, исторгнут из своего существования и присутствия и внезапно погружен в небытие, где ни существования, ни присутствия нет; в моем языке по самой его сути выражается возможность такого уничтожения; он в каждый момент недвусмысленно намекает на подобного рода событие. Мой язык никого не убивает. Но если бы эта женщина не могла в действительности умереть, если бы ей в жизни ежеминутно не грозила смерть, связанная и соединенная с нею сущностной связью, – тогда бы и я не смог осуществить то идеальное от-

¹⁴Батай Ж. Теория религии // Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С. 71.



Сергей Николаевич ЗЕНКИН / Sergey ZENKIN

| Поэзия и жертва слов / Poetry and the Sacrifice of Words |

рицание, то отсроченное убийство, каким является мой язык¹⁵.

Согласно магическим представлениям, популярным в художественной литературе, назвать что-то или кого-то – значит призвать его к бытию¹⁶. А Бланшо описывает обратную онтологическую операцию: обозначая кого-то или что-то в речи, мы отторгаем его от устойчивого бытия, делаем неравным самому себе, отрицающим себя и обреченным однажды исчезнуть. Такое двойственное переживание номинации обусловлено составом нашего языка: в нем соседствуют элементы, различающиеся по своей референции: с одной стороны, сущностно полные имена собственные, с другой стороны, абстрактно-понятийные имена нарицательные и референциально пустые, определяемые лишь своим контекстом местоимения. Между этими двумя полюсами располагается не только язык, но и вся культура¹⁷. Характерно, что Бланшо берет в качестве примера не имя собственное, а понятийно-дейктическое описание – «эта женщина», – выделяющее объект из множества других фактов, но не приписывающее ему никакой, даже воображаемой сущности. С его точки зрения всякий знак, даже имя собственное, дистанцирует и тем самым отрицает свой референт – ставит себя на его место. Ясно, однако, что такое отрицание, осуществляемое рутинно при каждом акте речи, трудно считать жертвенным. «Жертва» таких слов окажется даже не отрицанием отрицания, а отрицанием отрицающего – отрицанием не объекта, а средства отрицания, то есть сугубо абстрактной операцией. Если предмет первичного отрицания (скажем, «эта женщина») еще может быть лично близким субъекту, то слова, которые его обозначают, являются уже «ничейным», общим достоянием, у них нет нераз-

рывной связи с жертвующим субъектом, а разрывом такой связи как раз и обеспечивается драматизм жертвенного акта.

Со структуральной точки зрения, негативным является не только отношение слова к внешнему референту, но и его внутреннее устройство. Правда, хотя Жорж Батай был современником сосюрсовской лингвистики и дожил до подъема структурной семиотики в 1950-1960-х годах, он, судя по всему, был мало осведомлен в этих отраслях знания. Объекты человеческого опыта он пытается описывать не как абстрактные структуры, а по другой модели – как энергетически заряженные субстанции и вещи. В «Теории религии», написанной через несколько лет после «Внутреннего опыта», он объяснял, что настоящим предметом жертвоприношения является именно вещь:

Принцип жертвоприношения состоит в разрушении, но хотя это разрушение бывает порой даже полным (как в обряде всесожжения), все-таки жертвенное разрушение не есть обращение в ничто. Жертвенный обряд стремится уничтожить в жертве вещь – и только вещь. Жертвоприношение разрушает реальные узы подчиненности объекта, исторгает жертву из мира пользы и водворяет ее в мир недоступной разуму прихоти¹⁸.

Полезный, рукотворный предмет (или одомашненное животное, или даже поработанный, овеществленный человек), по мысли Батая, при жертвоприношении освобождается от своей утилитарной функции. Для этого разрушается его целесообразная форма – например, его частицы рассеиваются в жертвенном огне, возвращаются в стихийный круговорот веществ в природе. Таковы два взаимосвязанных аспекта жертвы: отделение объекта от поработавшего субъекта-хозяина и растворение его вещественной формы в текучей субстанции («как вода в воде», по не раз повторяемой Батаем метафоре). Говоря о «жертве слов» в поэзии, Батай также имеет в виду именно «поработанные» слова, подобные утилитарным вещам:

¹⁵Бланшо М. Литература и право на смерть [1949] // Новое литературное обозрение. №. 7. 1994. С. 88.

¹⁶«Когда я называю словом предмет, я утверждаю его существование» (Андрей Белый. Магия слов [1909] // Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 131).

¹⁷См.: Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф – имя – культура [1976] // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. Таллин: Александра, 1992. С. 58-75.

¹⁸Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С. 68.



Сергей Николаевич ЗЕНКИН / Sergey ZENKIN

| Поэзия и жертва слов / Poetry and the Sacrifice of Words |

«Мы используем слова, превращаем их в орудия полезных действий». При жертвенном, «бредовом» употреблении они перестают служить полезным целям, то есть развешествляются.

Однако слова не вещи: они имеют информационную, чисто реляционную природу, и, в отличие от обычных вещей, скажем орудий труда, их материальная актуализация несущественна. Одно и то же слово можно произнести вслух (очень по-разному – с различной громкостью, тембром, акцентом и т.д.), а можно написать или напечатать (тоже очень по-разному), и от этой смены временных и пространственных форм его идентичность и функциональность не нарушатся. «В языке нет ничего, кроме различий», – писал Соссюр¹⁹, а это значит, что язык как система целиком основан на взаимном отрицании его элементов. Структурная лингвистика изучает слово как систему виртуальных отношений между элементами (фонемами, морфемами), причем эти элементы и сами имеют абстрактную, виртуальную природу, независимую от конкретных свойств своих звуковых или графических носителей. Оттого слово, как информационный объект, невозможно *разрушить*: в нем нет материальных частиц, которые могли бы рассеяться в текучей субстанции, – то есть они есть, но все они изначально внеположны слову как таковому, служат лишь его внешним носителем. Чтобы уничтожить слово, его следует *забыть* – но забвение не является активным поступком и никогда само по себе не образует жертвенного обряда.

Правда, уничтожать не обязательно. Как уже сказано, для Батая «приносить в жертву – значит не убивать, а оставлять и дарить». Применительно к «жертве слов» это можно толковать так: в поэзии слова «оставлены» вне своих обычных практических функций, произносятся «даром», вне связи с «действиями» и «действенными отношениями <...> между людьми и вещами». Их жертвенный (в частности, негативный) потенциал ка-

ким-то способом заключается в скобки, *приостанавливается*, подобно тому, как при восприятии художественного текста, по знаменитой формуле Кольриджа, приостанавливается читательское недоверие (willing suspension of disbelief). То есть поэтическое слово – сотворенное, но не творящее, его сотворение как поэтического слова заключается именно в изъятии из него действенной силы; это «бездействующее» или «бездельное» слово, наподобие того как много позднее Жан-Люк Нанси писал (в связи с некоторыми проектами Батая) о «бездельном сообществе»²⁰, а Джорджо Агамбен обосновал (тоже во многом с оглядкой на Батая) общую категорию *inoperatività*²¹.

Это можно пояснить и с помощью другого понятия, которое Батай еще не мог знать в 40-х годах: жертвенное слово *неперформативно*. В ходе жертвенных обрядов совершающий их священник или жрец часто произносит ритуальные формулы, которые в принципе могут включать в себя глагол «жертвую»²²; но такого не может сказать поэт, совершающий не жертву *при помощи слов*, а «жертву слов» как таковых: даже если он произнесет или напишет что-то вроде «я жертвую слово» или «я творю поэзию» (показательно само отсутствие в нашем языке устойчивой формулы для такого случая), то в этот момент он ничего не творит и не жертвует, подобно тому как, говоря «я шучу», мы в этот момент всегда серьезны²³. Условные перформативы классической поэзии, такие как вергилиевский зачин «битвы и мужа пою...», многократно варьировавшийся на все лады подражателями, с точки зрения Батая должны были бы дисквалифи-

23

²⁰Nancy J.-L. La Communauté désœuvrée. Paris: Christian Bourgois, 1986.

²¹См., например: Agamben G. Nudities. Stanford UP, 2011 [2009].

²²Батай сам реконструирует такую речь жреца: «Я изымаю тебя, жертва, из мира, где ты была и не могла не быть сведена к состоянию вещи...» (Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С. 68).

²³В своих книгах «Внутренний опыт» и «Винный» Батай не раз приводит смех как один из примеров экста-тического, жертвенного переживания.

¹⁹Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики [1916] / Перевод А.М.Сухотина, переработанный А.А.Холодовичем // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 152.



Сергей Николаевич ЗЕНКИН / Sergey ZENKIN

| Поэзия и жертва слов / Poetry and the Sacrifice of Words |

цироваться как ложная поэзия: ведь перформативными высказываниями по определению устанавливаются или изменяются «действенные отношения между людьми», в данном случае между восхваляющим поэтом и восхваляемым героем; напротив того, «жертва слов» должна отменять, разрешать такие отношения. А раз так, то и слово, «оставленное» не у дел, изъятое из целесообразных проектов и активного взаимодействия людей, опустошается, обесценивая его жертвоприношение. Жертва слов виртуальна, а потому и недостаточна, неполноценна. Батай возвращается к этой мысли, закончив свою критику Пруста:

Но поэзию не сведешь к простому «всесо-
жжению слов». <...> Мы сами должны бросить
свое сердце «на растерзание» этому времени, кото-
рое нас ломает, которое только и может ломать то,
что мы хотим упрочить. Измученный Орест или
Федра так же нужны поэзии, как жертва – жертво-
приношению²⁴.

И дальше:

...убедившись, что вещественные жертвы
бессильны даровать нам настоящую свободу, мы
зачастую испытываем необходимость идти еще
дальше, до жертвоприношения самого субъекта.
<...> Поэту-жрецу, чей долг – все время вносить
разрушение в неуловимый мир слов, быстро на-
доедает пополнять литературную сокровищницу²⁵.

Здесь становится ясно, в каком смысле
жертвоприношение, по Батаю, не может «замы-
каться в царстве слов»: оно должно захватывать
личность самого человека, который его совершает,
– то есть, в случае «жертвы слов», личность поэта.
Поэт сам переживает гибельный опыт: «...сам
жрец не избегает удара, который наносит, он гиб-
нет, пропадает вместе с жертвой»²⁶. Такое отожде-
ствление жреца и жертвы не раз отмечали авторы,
размышлявшие о жертвоприношении; эту мысль
можно встретить в «Веселой науке» Ницше (цити-
руемой тут же Батаем), а в строгой антропологиче-

ской науке – у Анри Юбера и Марселя Мосса
(«Опыт о природе и функции жертвоприношения»,
1899), у Ольги Фрейденберг («Поэтика сюжета и
жанра», 1935). Подчеркивая единение или, что то
же самое, взаимоотмену субъекта и объекта в по-
этическом творчестве, Батай затрагивает самый
глубинный уровень архаического опыта, содержа-
щегося в жертвенном акте.

Приводимые им примеры «жертвы слов»
посредством расшатывания, разрушения их дей-
ственных связей имеют не только словесный, но и
личностный аспект: изрекающий такие бессвязные,
бессмысленные слова умалется, отрекается от
властной силы ума, от рационального контроля над
своей речью. Здесь уместно вспомнить понятие
«жертвы интеллекта», обсуждаемое в христиан-
ской теологии еще со времен Игнатия Лойолы и
встречающееся у Кьеркегора, Ницше («По ту сто-
рону добра и зла», I, 23), а среди современников
Батая – у Альбера Камю в «Мифе о Сизифе»
(1942):

Христианство – это скандал, и Кьеркегор
требует ни больше ни меньше, как третьей жертвы,
на которой некогда настаивал Игнатий Лойола и
которая радует Бога сильнее всего: «жертвы Ин-
теллекта». Это весьма странное следствие «прыж-
ка», но оно не должно нас больше удивлять²⁷.

Книга Камю вышла в свет незадолго до
«Внутреннего опыта» Батая, в том же самом изда-
тельстве Галлимара, и размышления о кьеркего-
ровском «прыжке», включающем в себя добро-
вольный отказ от рационального интеллекта, могли
быть близки Батаю, любившему сравнивать себя с
«безумцем»²⁸. Рассуждение о жертвенной природе
поэзии содержится в его книге, которая описывает
разные модусы мистического «внутреннего опы-

²⁷ Камю А. Миф о Сизифе [1942] / Перевод
С. Великовского // Камю А. Творчество и свобода. М.:
Радуга, 1990. С. 53.

²⁸ Например, в книге «О Ницше» (1944): «Немного шут,
немного безумец...»; «в своем безумии – или же пре-
дельной мудрости – я говорю себе...» (Батай Ж. Про-
клятая часть: Сакральная социология. М.: Ладомир,
2006. С. 394, 469).

²⁴ Батай Ж. Сумма атеологии: Философия и мистика. М.:
Ладомир, 2016. С. 212.

²⁵ Там же. С. 215.

²⁶ Там же. С. 219.



Сергей Николаевич ЗЕНКИН / Sergey ZENKIN

| Поэзия и жертва слов / Poetry and the Sacrifice of Words |

та», когда человек буквально переживает собственную смерть, ощущает себя гибельным трагическим героем вроде Ореста или Федры.

Впрочем, в качестве реального примера «поэтического самопожертвования» Батай приводит акт, лишенный драматизма: профессиональное самоотречение Артюра Рембо, навсегда отказавшегося от поэтического творчества в двадцатилетнем возрасте; он, «оставив поэзию, раздвинул границы ее возможностей, – то было окончательное, бесповоротное, безоговорочное жертвоприношение»²⁹.

Таким образом, жертвой слов может стать не просто «жертва интеллекта», но и *молчание*. Не обязательно уничтожать написанные тексты, достаточно перестать их писать – но только сделать это свободно, не под давлением внешних обстоятельств (старости, болезней), в самом расцвете творческих сил. Конечно, Батай не призывает всех поэтов умолкнуть, перестать сочинять стихи по примеру Рембо. И все же поэтическая «жертва слов» должна включать в себя такую перспективу – возможность молчания как предельного «разрушения» и «оставления» языка, что идет дальше метафорических игр вроде «масляного коня». Она включает в себя саморазрушение поэта – если не физическое, то профессиональное, как человека, занимающегося целесообразным, общественно признанным литературным ремеслом.

Распространяя «жертву слов» на личность слагающего их поэта, Батай обновляет древние представления о тождестве жреца и жертвы; его теория связана с той исторически поздней эпохой культуры, которую называют «современной», или эпохой «модерна». В последние два-три столетия в западной цивилизации литературное творчество стало самостоятельной отраслью культуры, обретая моральную и, что немаловажно, экономическую автономию; оно играет значительную роль в общественной борьбе и, по этой самой причине, часто подвергается репрессиям. Цензурное насилие над текстом нередко сопровождается полицейским или

террористическим насилием над его творцом, вплоть до физического уничтожения писателей и поэтов. В такой обстановке совершаются и жертвенные действия со стороны самих творцов – будь то реальное самоубийство на литературной, творческой почве, или парадоксальное творческое поведение «проклятых поэтов», сознательно избегающих славы и успеха, или полное творческое молчание, порой включающее уничтожение собственных произведений (например, в случае Гоголя, сжегшего рукопись второго тома «Мертвых душ»). Однако общество умеет контролировать такие жертвенные практики, интерпретируя радикальные жесты вроде сожжения рукописи как род самоцензуры (наподобие уничтожения личного архива, чтобы он не достался неумеренно любопытным потомкам), а позу «проклятого поэта» – как «литературную стратегию», особый вариант карьеры, когда писатель искусственно задерживает собственный успех, предупреждает преждевременные роды своей репутации, чтобы тем полнее восторжествовать позднее, «через девяносто лет», как выражался Стендаль³⁰. Сегодня жертвенно-трагическое самоощущение по-прежнему нередко встречается у значительных писателей и поэтов, но жертвенные практики заметно обесценились и часто расцениваются публикой как расчетливый «проект» – а по Батаю, напомним еще раз, жертвоприношение принципиально противоположно проекту.

Следствием такой социокультурной реинтеграции, которую претерпевает поэтическая жертва, становится то, что, в отличие от обычного жертвоприношения, *жертва слов обратима*. Это логически вытекает уже из ее виртуального характера: свободные от материального носителя слова невозможно разрушить. Даже если в конкретном речевом акте, в конкретном поэтическом тексте их удастся как-то деструктурировать, оторвать от образующих их внешних и внутренних отношений, они все равно никуда не исчезнут из памяти людей

²⁹Батай Ж. Сумма атеологии: Философия и мистика. М.: Ладомир, 2016. С. 214.

³⁰Об автономизации «литературного поля» в современную эпоху и о связанных с этим новых возможностях литературной карьеры см.: Bourdieu P. Les Règles de l'art. Paris, Seuil, 1992.



Сергей Николаевич ЗЕНКИН / Sergey ZENKIN

| Поэзия и жертва слов / Poetry and the Sacrifice of Words |

и будут вновь применяться в других текстах и высказываниях. Утраченные, намеренно или случайно уничтоженные произведения литературы также бережно восстанавливаются специалистами, реставрируются по их остаткам и следам: филологическая реконструкция – важный жест культуры, преодолевающей и нормализующей жертвенные интенции писателей. Более того, сам акт «жертвы слов» немедленно оказывается усвоен и осмыслен культурой – именно как *жертва слов*, особое смысловое действие, напрасно пытающееся уничтожить смысл как таковой. Поэт может заставить слово умолкнуть – но культура станет вслушиваться в это молчание, для нее оно зазвучит новыми смыслами; отсутствие значения само станет значимым. Ролан Барт еще при жизни Батая указывал на этот эффект вторичного осмысления бессмыслицы, критикуя литературные (например, сюрреалистические) попытки «отменить смысл», дабы ускользнуть от власти культурных «мифов»: «Следует еще раз напомнить, что отсутствие смысла – совсем не то же самое, что его нулевая степень; оттого-то миф так хорошо и завладевает таким отсутствием, приписывает ему значение «абсурда», «сюрреализма» и т.д.»³¹

То же самое происходит и с экзистенциальным самопожертвованием поэта. Независимо от того, примет ли оно форму чисто словесную (литературное молчание, уничтожение рукописей), или социально-личностную (разрушение собственной репутации), или даже буквально-физическую (прямое или косвенное самоубийство – пулей, алкоголем или чем-то еще), – культура все равно рацио-

нализирует и запомнит его как осмысленный «сюжет», иллюстрирующий общую категорию сакрального «антиповедения»³². Принося в жертву себя или свое творчество в масштабе конкретного текста или поступка, поэт «воскресает» в культурном сознании на уровне общего понятия – или даже в следующем конкретном тексте-поступке, в следующем произведении, где вновь воспроизводится тот же самый опыт, посредством тех же, однажды уже «пожертвованных» слов.

Сознавая все это, Жорж Батай столь острожно, с оговорками, высказывается о поэтической «жертве слов». Виртуальная и обратимо-«многоразовая» жертва еще могла бы быть уместна в «постсовременной» культуре, охотно декларирующей серийный принцип художественного опыта, но она плохо соответствовала пафосу эпохи, когда жил и работал Батай. Слова не поддаются жертвоприношению, потому что в них непосредственно проявляется экзистенциальный опыт человека, образующий единственный «нежертвующий» элемент в мире³³. Их жертвоприношение фатально оказывается «ненастоящим», его можно субъективно переживать как часть «внутреннего опыта», но фактически оно совершается лишь условно, понарошку.

В этом, однако, и заключается миссия искусства – условно симулировать драматический, нередко опасный, хотя и не обязательно жертвенный опыт, позволяя людям вновь и вновь переживать его без необратимых смертельных последствий. Чаще всего этот миметический опыт связывают с внешними сюжетными ситуациями (такими как война, преступление, трагическая любовь и т.п.); распространяя его на собственно смысловые

³¹Барт Р. Мифологии. М.: Академический проект, 2008 [1957]. С. 292. Жорж Батай описывал такой процесс в более общем виде – всякая жертва, пишет он в «Теории религии», усваивается религиозным культом и овеществляется в нем, утрачивая свою деструктивную, антивещественную сущность: «Слабость жертвоприношения заключалась в том, что в конечном счете оно утрачивало свои свойства и служило для организации особого порядка сакральных вещей, не менее рабски покорного, чем порядок реальных предметов» (Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С. 85).

³²Термин введен Б.А.Успенским. См.: Успенский Б.А. Антиповедение в культуре древней Руси // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 1. М.: Гнозис, 1994. С. 320-332.

³³См.: Nancy J.-L. L'Incalculable // Nancy J.-L. Une pensée finie. Paris, Galilée, 1990.



Сергей Николаевич ЗЕНКИН / Sergey ZENKIN

| Поэзия и жертва слов / Poetry and the Sacrifice of Words |

процессы, происходящие в словах, Батай формулирует радикальную эстетическую программу, которую должна иметь в виду теоретическая рефлексия о литературе и искусстве. Из нее следуют несколько важных выводов.

Жертвенная теория поэзии отрицает ее *ангажированность*, социально-политическую применимость. Европейская эстетическая теория еще в XIX веке обозначала это формулой «искусство для искусства», а Батай лишь усиливает конфликтную динамику этого жеста – отказа от всякой утилитарности. Разумеется, общество *использует* поэтические тексты (как и жертвенные обряды) в интересах различных своих сил и групп, однако лежащий в их основе исходный творческий акт и творческий опыт всегда бесцельны (в смысле эстетики Канта) и, подобно жертвоприношению, ни для чего не служат.

Жертвенная теория поэзии особенно радикальна в том отношении, что отрицает *познавательную* природу искусства. Определение искусства как формы познания до сих пор часто считают само собой разумеющимся, но историкам идей известно, что это недавний факт, связанный с эпохой романтизма; в эстетике эта идея утвердилась благодаря классической немецкой философии (особенно Гегелю), а в массовом сознании – с торжеством реализма во второй половине XIX века; она сохранялась даже в художественной теории сюрреализма (искусство как мистическое познание «сверхреальности»). Отталкиваясь от нее, Батай предлагает вернуться к такому понятию о словесном творчестве, которое ставит это творчество до всяких забот о познании мира и, стало быть, об овладении им. Можно сказать, что поэзия, литература, искусство *мыслят*, но их мышление не носит познавательного характера – не стремится добыть и усвоить новое знание для будущего применения, совершает свою работу всецело в настоящем³⁴.

³⁴См. интересные – к сожалению, в дальнейшем оставшиеся неразвитыми и много лет неопубликованными – размышления Бориса Энгельгардта, которые он сформулировал в ходе критики когнитивной теории поэтического искусства, предложенной в XIX веке Александром

Общество опять-таки рационализирует литературные тексты, приписывая им познавательную *функцию*, но делает это лишь задним числом, после собственно художественного опыта – прежде всего в критике и школьном преподавании.

Наконец, жертвенная теория поэзии заставляет понимать художественное творчество и восприятие как *энергетический* процесс. Жертва, по словам Батая, связана с «утверждением грозной суверенной силы ярости»³⁵, разрушающей устойчивые структуры, включая структуры понятийные. В ней человек переживает себя и весь мир как текучий процесс, обусловленный столкновением непрерывных стихийных сил³⁶. Применительно к словесному творчеству это означает, что отдельные, осмысленные, структурированные слова «жертвуются», сгорают в энергетическом взрыве – чтобы затем, уже вне искусства как такового, вновь «остыть» и сделаться послушными вещами, служащими практическим и/или познавательным задачам.

Такую дионисийскую, в ницшеанском смысле, концепцию поэзии Батай одновременно и утверждает, и корректирует, критикует, признает ее неполноту. Ее объект, то есть экстатический жертвенный опыт, по природе своей эфемерен, переживается в отдельные, быстролетные моменты; сопоставимый с бергсоновской «длительностью», он находится вне времени и обречен исчезнуть, поглощаемый овеществленным временем «проекта» и «производства»: оттого он, собственно, и не может считаться *объектом* в точном смысле слова. Особенность батаевской мысли – в постоянном напряженном колебании между рациональностью

Потебней: Энгельгардт Б.М. Теория словесности в лингвистической системе Потебни [1924] // Энгельгардт Б.М. Феноменология и теория словесности. М., Новое литературное обозрение, 2005. С. 118-122.

³⁵Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С. 85.

³⁶Такое понимание жертвоприношения как преобразования самой жертвы, жреца и всего мира мы предложили называть *трансубстанциальным*. См.: Зенкин С.Н. Небожественное сакральное: Теория и художественная практика. М.: РГГУ, 2012. С. 201-253.



Сергей Николаевич ЗЕНКИН / Sergey ZENKIN

| Поэзия и жертва слов / Poetry and the Sacrifice of Words |

и экстазом, между культурой и взрывом³⁷. Жертва — факт принципиально внекультурный, она не улавливается понятиями культуры и может характеризоваться ими лишь негативно, апофатически: не-полезное, не-познавательное, не-проективное,

не-темпоральное... Искусство, в частности поэзия, составляет один из привилегированных видов опыта, напоминающих человеку об этой изнанке культуры.

³⁷Спустя полвека после Батая эти последние понятия, в несколько другом значении, противопоставлял Юрий Лотман (см.: Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992). Интуицию «взрыва» как мгновенного, разрушительного, даже катастрофического события использовал и сам Батай для характеристики жертвоприношения, а косвенно и поэтической «жертвы слов»: «Нечто необъятное, непомерное ломится со всех сторон с катастрофическим шумом; оно возникает из какой-то нереальной бесконечной пустоты и в ней же с ослепительным треском исчезает. Зеркало, разлетающееся вдребезги и несущее смерть в грохоте столкнувшихся поездов, — вот выражение этого неумолимо-всемогущего и сей же миг уничтожающегося вторжения» (Батай Ж. Сумма атеологии: Философия и мистика. М.: Ладомир, 2016. С. 144). Здесь важна метафора «зеркала, разлетающегося вдребезги» — своими осколками оно не только «несет смерть», но и отражает, разрушаясь само, разрушительное событие жертвы.

